

УДК 908(470.6)(049.32)

С. Л. Дударев

Ткаченко Д. С. Российские историко-культурные памятники на Северном Кавказе в XIX – начале XX вв. Ставрополь: Изд-во Печатный Двор, 2017. 336 с., ил.

Выход в свет монографии известного историка-кавказоведа Д. С. Ткаченко является заметным событием в региональной историографии. Во **введении** ученым обозначаются главные понятия, термины и подходы, определяющие цель и смысл всего труда. Автор весьма показательно констатирует в самом начале своей работы, что ее ведущий термин – «коммеморация» – который рассматривается в узком (поименование) и широком смысле слова. Более широкое толкование термина – формирование государственными или общественными структурами политики памяти – содержит в себе большой идейный и воспитательный потенциал, который имеет громадное значение для будущего нашего региона и всей страны. Второе ведущее понятие книги – мемориализация – понимается как «проявление политики сохранения памяти через строительство монумента». Будучи «овеществленной памятью», монументы, или равнозначные им произведения, играют роль «мест памяти» (термин П. Нора). Они несут в себе послание для зрителя, являются позиционированием некоего образа, в котором зашифрованы смыслы, связанные не только с конкретным обликом объекта, но и той «фоновой историей», на емкое содержание которой памятник, собственно говоря, и указывает, являясь ее общим символом. Отталкиваясь от данных позиций, автор подчеркивает, что его исследование – это попытка взглянуть на проблемы людей рубежа XIX – начала XX в. через призму строительства монументов. Он полагает, что их возведение было связано с сословно-классовой структурой Российской империи, и не отражало коммеморационные интересы неимущих классов и этнических меньшинств Северного Кавказа. Соглашаясь в этом с автором, нужно напомнить, что местное население имело свои традиционные способы монументальной коммеморации (надмогильные стелы), не говоря уже о вербальных (например, фольклор) и до поры-до времени, не нуждалось увековечивании своих героев в европейском монументальном виде¹. Потребность в этом пришла в процессе интеграции в состав России, роста национального самосознания и появления национальной интеллигенции – носительницы определенных идей.

¹ Примечательно, что российская администрация называла тех, кто покушался на надмогильные изваяния горцев, о чем свидетельствуют «Соображения по управлению мирными горцами» начальника Центра Кавказской линии полковника князя Г. Р. Эрстова (1848 г.) (Кавказский сборник. Т. № 9 (41). М., 2015. С. 209).

S. Dudarev

Tkachenko D.S. Russian historical and cultural monuments in the North Caucasus in the XIX – early XX centuries. Stavropol: Publishing House Printing House, 2017. 336 p., Illustrations.

Примечательна классификация памятников Кавказа имперского периода, предложенная автором: памятники особам правящего дома; памятники государственной власти и олицетворявшим ее персонам; памятники «покорения Кавказа»; народно-казацкие памятники. Забегая наперед, отметим, что работа снабжена большим количеством фотографий указанных объектов и их реконструкциями, представленными в компьютерной графике. Большую их часть историк связывает со «временем установления русского владычества» в регионе». Как утверждает автор, в Российской империи не было единого центра, который бы ведал строительством памятников, которое до самого последнего периода существования государства не носило массового характера. В этом отношении существовал известный хаос, в котором, тем не менее, проглядывали ведомственные, местнические и пр. интересы и инициативы. В конце Введения автор призывает к осторожной политике в отношении имперских мест памяти, учитывая сложность современной политической ситуации в регионе.

Глава первая называется «Российские памятники в Закавказье». Она весьма примечательно начинается с известной истории о том, как барон Г. В. Розен, будучи командующим Отдельного Кавказского корпуса (ОКК), написал начальнику Главного Штаба графу А. И. Чернышеву о том, что не видит той цели на Кавказе, к которой нужно стремиться. В ответ уже император Николай I дал разъяснение, суть которого состоит не только в занятии и овладении краем, но и в устройстве безопасных его границ, а также, выражаясь современным языком, в постепенной интеграции местных народов через гражданское устройство, торговлю и пр. в состав России, для обоюдной пользы и этих земель и империи, как таковой. Иными словами, политика России на Кавказе является, по нашему недавнему определению, *мироустроительной*. Именно так ее, по сути, понимала еще Екатерина II. Анализируемые Д. С. Ткаченко памятники, воздвигнутые в Закавказье российскими властями, во многом, практически, являются подтверждением этого намерения. Как указывает исследователь, мысли о благе, которое Россия принесла на территорию не только Грузии, но и других стран Закавказья, освободив их от угрозы иноземных врагов, звучали в соответствующих региональных монументах [3, с. 21]. Разумеется, возведение памятников Российской империей преследовало не только трансляцию этой мысли.

Памятники должны были являться маркировкой и высокой оценкой (в том числе и от лица самого царя) примеров героизма, самоотверженности, верности воинскому долгу, в сочетании с легитимацией действий наместников и демонстрацией мощи империи [3, с. 22–23]. Не чужды эти сооружения были и идее мессианства [3, с. 27, 66, 73 и др.], присутствовавшей в их символике, которая не стыковалась с «политкорректностью» в кавказском контексте. Одновременно власти сталкивались с другой проблемой, на которую также указывает автор. Памятники должны были работать на массовую аудиторию. Расположение их в пустынной местности резко снижало эффект воздействия и, к тому же, угрожало объектам быстрым разрушением. Решение проблемы было найдено и оно оказалось, так сказать, узковедомственным, поскольку те или памятники попадали под опеку отдельных воинских частей, которые и оказывались единственными «потребителями» данных форм монументальной пропаганды¹. Разумеется, это резко снижало их «резонансность».

Особую роль играли памятники командующим ОКК, либо кавказским наместникам. Они, по сути, олицетворяли собой разные модели интеграции Кавказа в состав России. Интересно понимание автором трактовки образа П. Д. Цицианова в связи с возведением памятника этому деятелю. Имперской пропагандой он выстраивался в духе провиденциализма [3, с. 35]. Одновременно Д. С. Ткаченко приводит репрезентативный пассаж из газеты «Кавказ», где Цицианов рисуется как перевоспитатель народа. Важны две парадигмы, выстраиваемые неким автором статьи в этой газете. Они явно выдержаны, как бы мы сейчас сказали, в духе «ориентализма». Для местных жителей присущи хитрость, «пронырство», являвшиеся результатом приспособления к коварству азиатских правителей. П. Д. Цицианов же нескротость, милосердие, бесхитрость, прямоту, но и... бесприкословное повиновение воле России, основанное на страхе перед ее оружием. Со всем другим контентом имел памятник М. С. Воронцову. По мысли строителей монумента первому кавказскому наместнику, это сооружение должно было транслировать мысль не о силовом умиротворении, и перевоспитании, основном на страхе перед российской военной мощью, а о, опять-таки, мироустроительстве, развитии торговли, промышленности, заботах о благоустройстве и т.п. Ярким свидетельством именно этой наиболее успешной стороны его службы на Кавказе служат слова бывшего адъютанта Воронцова Р. Андроникова о желании князя достичь окончательного слияния Закавказского края с православной империей т.е., по сути дела, того, о чем писал Николай I барону Розену. Крайне важно то, что сам акт открытия памятника должен был послужить целям тогдашней администрации Кавказа проде-

¹ Это напоминает ситуацию с портретом А. П. Ермолова на фронте административного здания в одной из воинских частей, дислоцировавшейся в Чеченской республике в 2000-е гг. (личная информация).

монстрировать идею единения местных властей с разноэтничным населением края [3, с. 46].

В первой главе автор также делает и иные важные наблюдения: о «демократизации» мемориальной деятельности, как и самой армии (военные монументы все больше становились ближе к частным), о генезисе социального содержания памятников (от отражения кастово-сословной структуры и иерархии армии к фиксации утверждения общегражданского состояния военных в условиях реформ 60–70-х гг. XIX вв.) и др. Интересна трактовка памятника подвигу солдата Гаврилы Сидорова [3, с. 67–71], который погиб при перенесении артиллерийского орудия через препятствие. Д. С. Ткаченко акцентируется чрезмерная идеализация, связанная с редактированием официальными историками реальных обстоятельств гибели солдата в угоду идеям государственного патриотизма. В то же время, как бы «лубочно» или «сусально» не выглядело преподнесение геройской смерти Сидорова имперской пропагандой, налицо яркий пример громадного, неимоверного трудолюбия русского солдата, его самопожертвования и колоссального терпения при «покорении Кавказа», которому невозможно найти аналоги. Российская военная машина «состояла из такого удивительного человеческого материала, который не встречался ни в одной другой стране, кроме России» (В. В. Дегоев). В конце главы автором делаются выводы. Мы бы несколько уточнили их. Социальная база создания охарактеризованных выше памятников была весьма узкой, а тот «месседж», который они несли, должен был быть адресован более широкому социальному спектру «потребителей». Степень адекватности восприятия памятников разными слоями общества – это и есть, полагаем, одна из самых главных проблем в коммеморативно-мемориализационной деятельности России в Закавказье. При этом характерно то, что и в «русском» лагере картина должна была быть достаточно противоречивой. Взгляд на указанные памятники со стороны представителей российской армии и чиновничества мог не соответствовать взгляду членов переселенных в Закавказье групп религиозных диссидентов – старообрядцев, духоборов, молокан и др.²

Вторая глава «Архитектурные памятники военно-политической истории Северного Кавказа» рассматривает особенности увековечения важных для процесса интеграции региона в состав России событий в памяти его жителей. Автор отмечает, что историю колонизации региона рассказывали не сколько монументы и статуи (хотя, разумеется, были и они), сколько архитектурные памятники, оставленные первопоселенцами. Они воспринимались «их потомками как место памяти, легитимизирующее их появление на Кавказе» (sic!) [3, с. 62]. Исследователь прав, говоря о том,

² Подобная ситуация могла возникать и на Северном Кавказе, где проживали указанные диссиденты, которые, например, посещали закладки церквей в честь российских самодержцев [3, с.151].

что в контексте «культуры безмолвствующего большинства», несущей в себе традиции допетровской Руси в противовес модернизированной (мы бы сказали – вестернизированной) верхушке, отправной точкой считалась воля Господа. Это вело к тому, что центром всякого поселения россиян на Кавказе была церковь. Колокол и крест верно рассматриваются ученым, и как религиозные символы и как маркеры присутствия и обереги во враждебном окружении. Поэтому, когда он приводит мнение Д. Уптона, что строители не могли контролировать то, какие ассоциации вызывало их творение у зрителя, особенно иной культуры, то полагаем, что это и не должно было волновать строителей по определению. Ведь если бы они учитывали, например, мнение мусульман, то им пришлось бы удалить кресты, а впоследствии отказаться еще и от икон и росписей стен со сценами Священной истории, которые представителями указанной конфессии традиционно расценивались как яркое свидетельство многобожия. Восприятие посетителями из Западной Европы церковного строительства российских поселенцев, особенно казачества, трагиваемое в главе ученым, относится к числу важных свидетельств по исследуемой теме (и не только). Но иностранцы относились к строительству казаками церковей далеко не всегда саркастически [3, с. 86]. Одним из лучших свидетельств отношения казаков к церкви является свидетельство швейцарца на русской службе Ф. Жилия. Он писал: «Любовь, которую казаки питают к своей церкви, за пределами. Часто они возводят ее на свои средства и сами украшают и поправляют её, так как в случае необходимости они могут быть и плотниками, и каменщиками, и декораторами. Я видел на Тереке и Сунже церкви, являющиеся великолепными каменными сооружениями в византийском стиле» [1, с. 268].

Автор рассматривает в главе не только знаковую роль церковных объектов для увековечения российского освоения Северного Кавказа, но и отдельных изваяний в форме креста. Он справедливо полагает, что для имперских властей находка того или иного предмета раннего христианства на месте строительства новых фортификаций позволяла трактовать военное строительство как одобрение свыше задуманных планов покорений Кавказа, как возрождение веры, которая ранее была на земле ислама [3, с. 101–102]. Д. С. Ткаченко уделяет немалое внимание и остаткам фортификационных сооружений на Северном Кавказе, которые стали местами памяти. Важную роль историк придает, в частности, истории т.н. Старо-Юртовских ворот в крепости Грозной, которые «в сознании зрителя могли восприниматься и как свидетельство жестких боевых столкновений вокруг строительства города, и как памятник начала мирного вхождения края в состав империи» [3, с. 121]. Однако по данному вопросу необходимы корректировки. Автор полагает, что оказавшись в городской черте, отжившие свое крепостные ворота не были уничтожены, а превратились в архитектурный памятник в

виде триумфальной арки из жженого кирпича. Однако эта арка известна в истории Грозного, как т.н. Красные ворота, которые были построены, по одним данным, в 1850 г. в честь прибытия наследника престола Александра Николаевича, по другим, в честь приезда в г. Грозный этого же лица, но уже имевшего статус Государя Императора (улица, на которой были выстроены ворота, также была поименована в честь этого исторического лица как Александровская). Совпадали ли Староюртовские ворота с местом возведения Красных ворот, по нашим данным, точно не известно. Таким образом, последние имеют более конкретную, хотя при этом и спорную в отношении времени постройки, коммеморативную историю, и должны были бы быть рассмотрены в главе III, в разделе «Памятники российским императорам и царскому дому».

Наконец, Д. С. Ткаченко фиксирует и серьезное значение коммеморирования дорожного строительства на Кавказе, без которого его российское освоение было обречено на неудачу. Эта сторона «политики памяти» работала, между прочим, на все ту же идею императора Николая I, но выраженную Е. Марковым патетически: срастания, слияния «кавказских дебрей» с сердцем великорусского государства, откуда дороги понесут «одну, всем общую, питающую и животворящую кровь» [3, с. 130]. В то же время, данная сторона мироустроительной деятельности России на Кавказе подвергалась, порой, диффамации со стороны местного населения (обелиск у Сурамского тоннеля). Полагаем, что ее причины требуют дополнительных толкований.

В третьей главе анализируются официальные памятники власти на Северном Кавказе. К их числу относятся разноплановые объекты: землянка Петра Великого в Дербенте, часовни, триумфальные арки, церкви, скульптурные памятники, надгробия и пр., воздвигнутые в честь как тех или иных самодержцев, так и государственных чиновников высокого ранга. По сути, на материалах всех этих объектов можно проиллюстрировать мысль историка о том, что на практике в сознании их строителей происходил сплав почитания памяти того или иного деятеля с насущными идеологическими потребностями для утверждения власти. Это верная мысль может быть дополнена и иными нюансами понимания смысла памятников, высказанными самим же Д. С. Ткаченко. Так, церковь в честь Александра III в станице Павлодольской в сознании местных казаков должна была стать еще одним казачьим маркером присутствия на землях Кавказа [3, с. 151]. В то же время сложно согласиться с ним в том, что данная церковь была посвящена «довольно одиозному российскому императору». Данная «одиозность» – это, скорее, оценка последующих времен. Интереснее то, что по мысли автора, контекст событий, сопровождавших возникновение каждого монумента (например, городских легенд, сопровождавших прибытие Николая I в Ставрополь) гораздо более красноречив, чем его «фонозная история». т.е. сюжет, которому он был посвящен.

Примечателен второй раздел третьей главы, который справедливо начинается ученым с констатации, что довольно большое количество памятников региона служило цели увековечения идеи единения региона с Российской империей (а вот то, что западные историки называли их «маркерами имперского триумфа» – это, на наш взгляд, более узкое и чисто внешнее восприятие данного феномена) [3, с. 164]. Впрочем, в главе рассмотрены и такие памятники, которые имеют трагикомическое прочтение. Мы имеем в виду надгробия, подобные тем, что составляли «кладбище коллежских ассессоров» (г. Георгиевск) и повествуют об особенностях функционирования чиновничье-бюрократической системы России. Но не они наиболее репрезентативны в этой части монографии. К самым «говорящим» относится ряд памятников военачальникам, в том числе, павшим в ходе событий «Кавказской войны» (Н. В. Греков, Д. Т. Лисаневич, Н. И. Евдокимов, А. П. Ермолов, и др.). В период своего установления они, согласно автору, прежде всего, демонстрировали мощь империи, преданность престолу и воинскому долгу. Специалист полагает, что памятники военачальникам воспринимались на «русской стороне» бывшей Кавказской линии позитивно, без привнесения политического и этнического смысла¹ [3, с. 184]. Их «целевой аудиторией» были военные, «транслировавшие через памятник свои корпоративные ценности» [3, с. 187], казаки, отражавшие, тем самым, свое присутствие и доминирование в регионе и конкретных его районах (см. выше), например, Терской области, и шире – русское население [3, с. 197–198]. Мнение кавказцев об увековечении памяти тех или иных военных деятелей самодержавия в те времена, опять-таки, не учитывалось. Памятники представляли собой некий идеальный имперский образ, за которым не угадывалась вся сложность положения на Северном Кавказе (да и Кавказе вообще), что и делало официальную монументальную пропаганду того времени малодейственной и потому не давшей серьезных корней. Превратная судьба советских памятников XX в., совсем, казалось бы, идеологически иного содержания, подтверждает эту мысль и пролонгирует ситуацию вплоть до нашего времени (см. ниже). При этом она, порой, переплетается с перипетиями памятников «имперского периода». Так, памятник А. П. Ермолову, уничтоженный в 1921 г., был восстановлен после депортации вайнахов в 1944 г. Одновременно с этим была снесена масса надмогильных памятников чеченцев и ингушей, охраняемых властями в дореволюционный период (см. выше). Бюст А. П. Ермолова, несмотря на неоднократные попытки нелегально уничтожить его в конце 1960–1970-х гг., простоял до 1989 г. Местным русским (шире – русскоязычным) населением он воспринимался не только как памятник основателю города, но и как символ русского присутствия (ср. с цитированной выше мыслью авто-

¹ Думается, что эти смыслы, все же, нельзя исключать полностью.

ра на [3, с. 92]). Его ликвидация (как и последовавшее затем свержение памятника В. И. Ленину) маркировала собой скорый массовый исход «русскоязычных» из Чечни. Оценивая этот трагический круговорот людей и памятников, необходимо помнить, что устранение подобных маркерных мемориальных объектов, как проявления «войн памяти» – это сигнал для масштабных деструктивных действий антигосударственного характера с далеко идущими последствиями.

В главе четвертой «Кавказская война в образах имперской исторической памяти» рассматриваются судьбы указанного события в монументальных памятниках Северного Кавказа. История тех из них, что увековечивали победу над Шамилем на Гунибе, и коммеморировавших это событие (Сень Барятинского и др.), в немалой степени сходна с судьбой российских монументов в Закавказье. Их расположение в редко посещаемой местности делало такие объекты малодейственными для прославления побед русского оружия и т.д. В этой связи, памятники, символизировавшие державную поступь России в краю гор, приходилось сооружать в местах, где их обзор давал гораздо больший резонанс (г. Темир Хан-Шура). Даже в тех случаях, когда аудитория, созерцавшая памятники, была шире и «адреснее» (памятник завершению военных действий у станицы Царской Кубанской области), смысл их существенно ограничивался топографическими причинами. Был у них и еще один недостаток, который уже неоднократно отмечался выше – это абстрагированность от реакции местного населения. Формулировки, к которым прибегает автор для оценки подобных случаев [3, с. 215, 294 др.] предполагают исключительный негатив со стороны кавказцев. Но мы не можем признать это за абсолютную истину². Иначе обстояло с такими объектами, как собор Кавказской Армии в Тифлисе и Кавказский военно-исторический музей. Они не только работали на широкую аудиторию. Последний осмысливался компетентными современниками того времени, как «величественный памятник победоносной Кавказской армии, на котором все народности Кавказа... найдут имена своих героев» [3, с. 232]. И это не было напыщенным преувеличением «официозного автора». Невозможно не вспомнить выступление другого современника, депутата Государственной Думы от Дагестанской области Гайдарова (1912): «Само население Кавказа боролось против своих для присоединения Кавказа к России» [2, с. 54].

Еще один феномен, проанализированный автором в данной главе – это «солдатские» монументы полковых штаб-квартир. Они в чем-то повторяли судьбу иных памятников, рассмотренных выше, как по части проблем с «адресностью», так

² Точно также трудно признать курс, взятый наместником, вел. кн. Михаилом Николаевичем, исключительно русификаторским (с. 225). Некоторые специалисты полагают, что особенностью курса М. Н. Романова было ускоренное внедрение государственно-управленческих институтов по русскому образцу, проведенное, однако, без социальных взрывов (Д. А. Малахов).

и с сохранностью после возведения. Впрочем, они как указывает автор, были, все же, рассчитаны на узкую военную аудиторию. Д. С. Ткаченко определяет их как знак «русского владычества» и «силовой политики», которым была суждена, за редким исключением, недолгая память. Их судьба близка народным казачьим монументам (которые настоящая глава и завершается), возникшим как отражение почитания самими казаками своих предводителей. Среди последних одно из наиболее видных мест занимает Н. П. Слепцов. Тот образ данного деятеля, который выстраивается автором, можно было бы охарактеризовать классической формулировкой: «слуга царю, отец солдатам». Ряд специалистов (В. Б. Виноградов, Ю. Ю. Клычников, Н. Н. Великая и Е. М. Белецкая и др.) показали, что с личностью Н. П. Слепцова все было гораздо сложнее. Памятник ему, как верно пишет Д. С. Ткаченко, был для сунженских казаков символом сплочения. Но сама судьба генерала, жившего в переплетении ряда драматических обстоятельств, наиболее трудные из которых проистекали отнюдь не от его борьбы с горцами, не является прямолинейным воплощением чеканного лермонтовского определения. Впрочем, суть казачьих памятников в целом, если отвлечься от конкретных перипетий судьбы Н. П. Слепцова, справедливо определена историком как средство привития боевых традиций, что могло не понимать начальство в Петербурге, но лучше осознавало местное руководство. Оно было в состоянии само санкционировать знаки поминовения казачьих подвигов. Автор указывает и еще на одну черту народных памятников казаков, которые, по его мнению, были идеологическими аргументами в этнополитическом споре с горским населением. В завершении главы в целом Д. С. Ткаченко солидаризируется с мнением британского историка Паксмана, который полагал, что идеологическая работа имперских властей, частью которой являлось воздвижение соответствующих памятников, была направлена «на обеспечение психологического комфорта жителей метрополии и административного аппарата, а не местного туземного общества»¹ [3, с. 294]. Между тем, в самой среде российской общественности XIX – начала XX в., как считает автор рецензируемого исследования, возникало понимание того, что в мемориальной деятельности нужно прославлять не только военную мощь, но и тот позитив, который Россия несла на национальные окраины.

В разделе, который завершает монографию и имеет характер **заключения**, справедливо обращается внимание на драматические судьбы российских мемориальных памятников доре-

волюционной поры, подвергшиеся тотальному уничтожению и «проклятию памяти». Тем самым совершалась перекодировка исторического сознания жителей нашей страны, которым внушалась мысль, исходившая от В. И. Ленина, и поддержанная затем, фактически И. В. Сталиным в «Кратком курсе истории ВКП(б)», что царская Россия была «тюрьмой народов». Д. С. Ткаченко весьма тонко подводит читателя к мысли, которая имеет большую актуальность и перспективу. Борьба с памятниками в советский период, по его мнению, привела к тому, что кроме образов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, и некоторых других (непонятно, правда, почему в этом ряду у автора отсутствуют Л. Н. Толстой и А. И. Полежаев), иные маркеры, по которым советский человек должен был вспоминать имперское прошлое Кавказа, отсутствовали. Со своей стороны, заметим, что когда закончилась советская эпоха, то в небытие ушли и такие новые «маркеры», как В. И. Ленин и другие советские вожди и деятели. И остались все те же А. С. Пушкин и названные (и не названные) вместе с ним выше. Прекрасны слова Р. Гамзатова: «Не Русь Ермолова нас покорила, Кавказ пленила Пушкинская Русь». Но ирония судьбы заключается в том, что это «пленение» совершилось уже после того, как завершилась интеграция региона в состав России, шедшая с помощью как мирных, так и немирных способов. Последние напрямую отождествляются с военачальниками, памятники которым были свергнуты в начале советского периода. Ныне общественность национальных субъектов Северного Кавказа болезненно воспринимает памятники российским военным деятелям XIX в. и ее можно понять. Но точно также можно понять и тех россиян, а их немало, которые связывают свои корни и оправдание своего пребывания на Северном Кавказе с деятельностью таких фигур, как А. П. Ермолов, Г. Х. Засс, и др. Ибо, если полностью осудить таковых и возвысить только их оппонентов, то получится, что «русскоязычное» население – это потомки «колонизаторов» и «окупантов», причем, как дореволюционных, так и советских, которые должно бесконечно каяться за их грехи. У такой «философии» нет будущего. Достойным финалом ценной монографии Д. С. Ткаченко является предложение автора «воздвигнуть на Кавказе один коллективный памятник общим жертвам Кавказской войны» (с. 304). Оно удивительно напоминает такой поучительный факт, о котором сообщает итальянский историк Ф. Ч. Казула. В Мехико, на площади, посвященной тем культурам, на базе которых возникла современная Мексика (маяя, ацтеков, испанцев) есть мемориальная доска, на которой написано, что приход завоевателей с Иберийского полуострова в Америку не должен считаться ни победой, ни поражением, а мучительным рождением сегодняшней Мексики. Строительство современного Российского Кавказа также должно строиться на отказе от взаимных претензий и исторических обид. Коммеморация же прошлого

¹ Читая эти высказывания зарубежного коллеги, можно подумать, что британские колонизаторы были озабочены «психологическим комфортом» народов Индии. «Равнины Индии белеют костями ткачей» - донесил британский генерал-губернатор лорд Уильям Бенетинк в Лондон в 1834 г. URL: <http://www.1917.com/History/Marx-Oct/Gv277UXPbANI+n5iHSbHUXng0s.html> (Дата обращения: 31.03.19).